



Д. С. СВЯТОПОЛК–МИРСКИЙ

Розанов

Имя Мережковского обычно упоминают рядом с именами Розанова и Шестова. Но если не считать того, что оба они — его современники, писавшие на темы «религиозной философии», и что некоторые из их наиболее значительных работ имеют форму комментария к Достоевскому, то, по существу, между Мережковским и этими двумя писателями нет ничего общего. Хотя ни Розанов, ни Шестов никогда не играли в литературной жизни такой большой роли, как Мережковский, они занимают гораздо более видное место в истории русской литературы — не только благодаря значению и подлинности их религиозных идей, но и как первоклассные, чрезвычайно оригинальные *писатели*. <...>

Главное у Розанова — его религия, натуралистическая религия пола и продолжения рода. Это прежде всего религия брака и семьи. Она строго моногамна, и ребенку отводится в ней по крайней мере не меньшая роль, чем жене. Розанова отличала глубокая религиозность, ему было близко все, что относилось к русской церкви — ее службы и святыни, поэзия и духовенство. Для него было характерно чрезвычайно глубокое проникновение в существо христианства с его аскетическим, девственным идеалом. Но на дне его души лежала вера, в которой христианство сливалось с естественной религией. Это была первооснова всякой религии — чувство единства вселенной: *religio**, *pietas***.

Христианство и влекло его, и одновременно отталкивало своей враждебностью другой близкой ему религии — религии жизни. Что особенно оригинально в Розанове и что делает его столь похожим на Достоевского — это его своеобразное отношение к морали. Он был глубоким имморалистом и в то же время превыше

* связь, религия (*лат.*).

** благочестие (*лат.*).

всего ценил сочувствие, жалость, доброту. Моральное добро существовало для него только в виду естественной, произвольной, неодолимой *доброты*. Ему не нужны были никакие системы, не нужна логика. Он полностью находился во власти интуиции, и по глубине интуиции превосходил всех писателей мира, даже Достоевского. Этот дар проявляется на каждой странице его сочинений, от «Легенды о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» до «Апокалипсиса нашего времени», но прежде всего обнаруживается там, где он ведет речь о религии и о живых людях. Человеческая личность была для него самым важным — единственной ценностью, которую он ставил наравне с религией. И страницы, посвященные им характерам живых людей, просто бесподобны. В качестве наглядных примеров его интуиции и стиля можно упомянуть два места (они слишком длинны для цитирования) — три последние страницы книги «В мире неясного и нерешенного», где он говорит о разном отношении церкви к шести новозаветным таинствам и единственному ветхозаветному — таинству брака; а также размышление о Владимире Соловьеве (с точки зрения стиля — одно из самых значительных достижений в русской прозе со времен протопопа Аввакума), которое, что показательно, расположено в подстрочном примечании к одному из писем Страхова («Литературные изгнанники», с. 141–144).

Само собой разумеется, что стилистика Розанова плохо поддается переводу — хуже, чем чья-либо еще. Особую роль играет в ней *интонация*. Он пользуется различными типографскими средствами для ее выявления — кавычками, скобками, но в иностранном языке впечатление от них совершенно меняется или совсем пропадает: творчество Розанова так богато оттенками чувств и переживаний, так пропитано русским духом, что и его интонации звучат исключительно по-русски. Мне ничего не остается, как предложить вниманию читателей несколько грубых оттисков с непревзойденных оригиналов.

Вот что пишет Розанов о себе и вселенной (в примечании к одному из писем Страхова¹); я сохраняю все скобки и кавычки оригинала:

«Есть у меня (должно быть) какая-то вражда к воздуху, и я совершенно не помню за всю жизнь случая, когда бы “вышел погулять” или “вышел пройтись” ради “подышать чистым воздухом”. Даже в лесу старался забиться поскорей в сторонку (“с глаз” и “с дороги”), чтобы немедленно улечься и начать нюхать мох или (лучше) попать грибок, или сквозь вершины колеблющихся деревьев смотреть в небо. Раз гимназистом я так лег на лавочку (в городском саду): и до того ввинтился в звезды, “все

глубже и глубже”, “дальше и дальше”, что только отдаленно сознавая, что “гимназист” и в “Нижнем” — стал себя спрашивать, трогая пуговицы мундира: “Что же истина, то ли, что я *гимназист и покупаю в соседней лавочке табак*, или этой ужасной *невозможности*, гимназистов и т. п., табаку и прочее, *вовсе не существует*, а это есть наш *сон*, несчастный сон заблудившегося человечества, а существуют... *Что?.. Миры*, колоссы, орбиты, вечности!!.. *Вечность и я* — несовместимы, но *Вечность* — я ее вижу, а я — просто фантом”... И прочее в том роде».

О своем друге Шперке и бессмертии (из «Опавших листьев»²):

«Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете* — невозможно. Там, м. б., в платоновском смысле “бессмертие души” — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем случае не ошибочно.

И не то чтобы “душа Шперка — бессмертна”: а его бородавка рыжая не могла умереть. “Бызов” его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А “душа” его “бессмертна” ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.

Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не “залатывается” с тех пор, как была. Это лучше “бессмертия души”, которое сухо и отвлеченно.

А хочу “на тот свет” прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше».

О Боге и устройстве мира (из «Опавших листьев»³):

«Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть? Скажу ли, что мир, Им сотворенный, прекрасен? Нет. Что же я скажу? Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня».

О национальности (из «Уединенного»⁴):

«Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком... И все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя *с иностранцем*».

Последняя цитата еще раз напоминает читателю, как трудно, если вообще возможно, передать мироощущение, вкус, запах такого человека, как Розанов. Да не так уж, может быть, и надо, в конце концов (с точки зрения русского патриота) его пропагандировать среди иностранцев. Есть люди, которые ненавидят, глубоко ненавидят Розанова и которые считают его неприятным, отталкивающим. Строгие православные священники сходятся в этом неприятии с ортодоксами совсем иного рода — такими, как Троцкий. Розанов — антипод классицизма, дисциплины и всего, что имеет отношение к позиции, к воле. Его гений женственен, это голая интуиция, без следа «архитектуры». Это апофеоз «естественного человека», отрицание усилия и дисциплины. Андре

Суарес⁵ сказал о Достоевском, что тот явил собой «скандал наготы» (le scandal de la nudité). Но Достоевский еще вполне прилично одет по сравнению с Розановым. И нагота Розанова не всегда прекрасна. Но, несмотря на все это, Розанов был величайшим писателем своего поколения. Русский гений нельзя измерить без учета Розанова, а мы должны нести ответственность за наших великих людей, какими бы путями они ни шли...

